Луи стащил с себя бюстгальтер и швырнул его на столик. На пальцах остались какие-то неприятные липкие комочки. Он протянул руку к все еще стоявшей на коленях шлюхе, и та, закрыв глаза, облизала ему пальцы. Луи вдохнул запах ее волос, тошнотворно-приторный запах вонючего кокосового масла, которым пользуются эти гребаные таксисты, эти драные Хайле Селассие в своих дерьмовых развалюхах. Губы у нее были липкие и жирные от дешевой тухлой помады.

Он отнял руку.

Выйдя на Западную Двадцать шестую улицу, Луи немного постоял в темноте. Был август, та пора в Нью-Йорке, когда днем с давяще-низкого, выцветшего добела неба льется удушающий зной, а ночью над городом повисает пепельно-бледная беззвездная дымка. Луи чувствовал эту ночь и знал, что она чувствует его. Он закурил сигарету и глубоко затянулся. Поздно. Но не для него.

Испарения в воздухе смешивались с испарениями его тела. Между волосками на голой руке блестели капельки влаги. Взгляд скользнул к пальцам с зажатой в них сигаретой. Луи не знал, что хуже: мерзкие выделения его собственного организма или мокрые следы, оставленные слюнявым языком шлюхи. Скоро их смоет, сказал он себе, чувствуя конденсирующуюся на коже влагу. Что ему сейчас нужно, так это свежий ветерок с реки. Вот было бы хорошо.

Луи зашагал по улице. Он не стал ни застегивать рубашку, ни заправлять ее в брюки. На нем был прекрасный пиджак из прекрасного хлопка и распрекрасного шелка, тот самый, за который он выложил две штуки в Милане. Пиджак сшил на заказ по мерке один портной — как там его звали? — сшил из сине-зеленого, цвета морской волны, почти невесомого материала. Луи не чувствовал его на плечах, но ощущал оттягивающую карман тяжесть.

Это был его любимый пиджак. Такой можно носить с чем угодно, не замечая, что что-то носишь, и только тот, кто знает толк в классных вещах, мог бы оценить настоящее качество. И еще пиджак подходил под цвет его глаз. Шлюхам нравились его глаза. Они нравились им даже теперь, когда Луи стал просто старым хреном. Некоторые боялись его глаз, однако некоторые от них шалели.

Он ненадолго задержался на углу Шестой авеню. Закурил еще одну сигарету. Потом повернул к центру.

Да, в прошлом мае ему исполнилось шестьдесят три. Шестьдесят три, мать их! И нате вам, разгуливает по улице, как мальчишка. Ему нравилось гулять по ночам, в одиночку, даже в такую вот гребаную жару. Хорошо.

Мимо протопали какие-то ниггеры. «Они ничем не лучше меня», — подумал он. Все так. Именно так. Как сказал тот парень, тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь.

Ему вспомнилась одна шлюха в Сент-Луисе, та, безрукая. Вспомнилась та работенка. Сукин сын... не пожелал встать на колени.

Май. Апрель. Март. Февраль. Январь. Декабрь. Ноябрь. Октябрь. Сентябрь. Август. Ну и ну. Вот дерьмо! Значит, его зачали в такую вот гребаную погоду. И кто только трахается в гребаную жару? Кому охота

трахаться, не имея даже гребаного кондиционера? Господи.

Но о чем это он, мать твою, думает? Он и сам трахался в такую вот погоду, без всякого вшивого кондиционера. Да. Ему вспомнилось, как это было: вязкие, чавкающие звуки, лужица пота на животе у той... как ее там... вошел-вышел, вошел-вышел... на... на... на! Быстрее и быстрее. Бесконечные часы... без перерыва. Так... так... так... Он отрывался от нее, весь потный, поднимался над липкой лужицей собравшейся в ее пупке слизи и снова опускался, погружался в нее. Снова и снова, быстрее и быстрее, сильнее и сильнее, глубже и глубже, громче и громче, с тем всасывающе-чмокающим звуком, который издает резиновая груша в сливном бачке, когда, смывая, дергаешь ручку.

Да, наверное, он действительно постарел. Выходит, его слепили в августе. Может быть, поэтому на Луи не действовала жара, эта мертвая окоченелость, этот тяжелый, душный воздух, которым другие и дышать-то не могли. Да. Зачат в августе. Шестьдесят три года назад. Нет. Уже шестьдесят четыре.

А кого зачал он? Да никого. Кончал то в руку, то в рот какой-нибудь подстилке. Расплескал впустую. Теперь уже поздно. Впрочем, так оно даже лучше. В одиночку рождаешься, в одиночку и подыхаешь. Черт, легче заплатить проститутке, чтобы подержала за руку, когда придет пора подыхать. За деньги купишь все.

Сам того не замечая, Луи свернул на Четырнадцатую улицу. Больше ниггеров, больше спиков[1]. Вот дерьмо. В былые времена ниггера на Четырнадцатой и не встретил бы. Все началось с баскетбольных площадок. Потом выползли эти еврейские шлюшки, охот-

[1] Спик (*англ.* spic) — презрительная кличка испаноговорящих американцев, особенно пуэрториканцев.

ницы до темного мяса. А потом глядь — здесь уже не твой гребаный квартал, а отстойник для поганых ниггеров. Нет, Луи не винил гребаных ниггеров. Кто станет трахать драную черную сучку, если можно оттянуть жидовку, какой бы уродиной она ни была? Кто не предпочтет быть здесь, а не там? Проблема в том, что теперь там — это здесь. Но нет, ниггеры тут ни при чем. Если кто и виноват, так те белые пидеры, вылезшие из глуши со своей любовью к черным братьям. Вот и получили чего хотели.

А еще он предъявил бы счет копам. Были времена, когда местные парни крушили баскетбольные щиты обрезками труб. Были времена, когда местные парни брали бейсбольные биты и кроили черепа черным. В те времена копы прикрывали своих. Теперешние, они другие. Они не местные. Живут себе в этих вонючих пригородах и знать ничего не хотят. И где они вообще, эти долбаные копы? Да они еще хуже ниггеров. Теперь, когда нет прежних кварталов, где люди знали друг друга, когда ничего этого нет, да пошли они в задницу, белые пидеры! Теперь ему ближе ниггеры. Да, и каждый раз, когда черные пришивали копа, Луи испытывал удовольствие.

Нет. На хрен их всех! Он ни с кем.

Луи все шел. Внизу живота осела тупая, ноющая боль — около года назад потянул паховую мышцу. Похоже, так и не зажило как надо. Иногда боль пронзала, будто ножом, справа, под самой промежностью. Стареешь, вот болячки и не проходят.

Он пересек Бликер-стрит по направлению к Кармин-стрит. Духота, влажность, пот... идти стало тяжелее. Проходя мимо итальянской церкви, Луи перекрестил большим пальцем лоб. Словно прикоснулся им к святой воде. Потом перешел на другую сторону улицы, к замудоханному облезлому ресторанчику. Заведе-

ние было закрыто, но управляющий еще сидел у стола с карандашом в руке и выпивкой в стакане.

Луи постучал в дверь. Парень поднял голову, встал и впустил гостя.

— С обходом, дружище?

Голос и манера держаться колебались между почтительностью и притворным радушием. Лет этак тридцать пять, глаза-бусинки и усы.

— Не называй меня так.

При этих словах притворное радушие дрогнуло, соскользнуло на мгновение и повисло в наступившей тишине. Удовлетворенный результатом, Луи отвернулся от сопляка и подошел к столу. Повесил свой распрекрасный пиджак на спинку стула, сел, сдвинул в сторону бумаги и закурил.

— Налей мне выпить. И дай пепельницу.

Парень зашел за стойку бара. Притворное радушие вернулось на место, но в более приглушенном варианте.

— Есть свежая граппа. Отличная вещь.

Он поднял какую-то идиотского вида сужающуюся высокую бутылку и показал ее гостю.

— К чертям. Побереги это дерьмо для сосунков. Дай мне «Дьюар» и воды со льдом. И пепельницу. Или я, мать твою, буду стряхивать на пол.

Парень подошел со стаканом и пепельницей. Поставил их на стол перед Луи и сам сел рядом.

— Как жизнь?

Луи посмотрел на его усы. Должно быть, отрастил их за тот год, что они не виделись.

— Когда я был еще сопляком, старики, бывало, говорили: чем больше усы, тем здоровее член.

Притворное радушие потускнело.

— Теперь, когда я вижу парня с усами, то думаю, что он или коп, или педик. Или и то и другое.

— Наверное, мне лучше их сбрить, а, Луи? — стараясь удержать остатки радушия, спросил управляющий.

— Нет. — Луи махнул рукой и скорчил гримасу. — Оставь. Твой отец коп, верно? Может, и в тебе есть что-то от копа или педика. Тебе они идут. Усы.

Парень ничего не сказал, потому что сказать было нечего. Быть Луи означало иметь кое-какие привилегии, и Луи часто пользовался ими.

Он потушил сигарету, выпил и снова заговорил:

— Знаешь, твой дядя всех затрахал. Только пойми правильно, ты тоже всех затрахал. Но ты — мелочь. А вот твой дядя затрахал всех по-крупному. Купил этот притон, сорвал деньжат, а потом все спустил на ставках. Приходит к моим друзьям и начинает плакаться. Ему помогают. Он продолжает в том же духе. И чуть получит уведомление о закрытии, как несется со слезами в банк с чеками «Кон Эд». Моим друзьям это не нравится. Твой дядя — безмозглый, тупой ублюдок. Вот он кто. — Луи посмотрел на валяющиеся на столе бумажки с таблицами скачек и какими-то расчетами. — Тебе это знакомо.

Он выпил, прикурил очередную сигарету и едва заметно усмехнулся.

— Вспомнил, у него ведь тоже усы. Может, Господь не зря дал ему такую походочку. — Луи выпил. — Ну да ладно.

Он вынул из кармана то, что там лежало, и положил на стол: «Вальтер ППК», девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет в запечатанном полиэтиленовом пакете для сандвичей.

Управляющий увидел черный пистолет примерно шести дюймов в длину, упакованный, как ему показалось, в помятый мешочек для хранения вещественных доказательств.

— Может, лучше убрать его подальше? Что, если сюда заглянет какой-нибудь коп?

Луи ухмыльнулся:

— Когда ты в последний раз видел, чтобы копы ходили пешком? Они больше не ходят. Да, бывают в спортзалах, как и остальные педики, но пешком не ходят. Черт, я недавно видел пешего копа, так это была баба, переодетая шлюхой. Пять футов два дюйма, патлы — мне до пупка, голова, как хэллоуинская тыква, с какими-то шишками на физиономии. Лучшее, что есть в Нью-Йорке. Как и твой старик, ни на что не годная, уродливая тварь.

Парень больше не смотрел в глаза Луи. По-настоящему Луи никто не знал, за исключением, может быть, самого Луи и его босса. Зато все знали: с ним лучше не связываться, и все, за исключением, возможно, самого Луи и его босса, боялись его, не имея на то каких-то особых причин.

— Ну да ладно. Мои друзья полагают, что если я припугну этот кусок дерьма, твоего дядю, то, может, до него и дойдет, что к чему.

Управляющий неуверенно кивнул и предложил гостю еще виски.

— Полегче, — ответил Луи. — Как сказал великий Будда: умеренность во всем.

Он взглянул на усы и усмехнулся.

— А ты на заднице такие не отпускал? Попробуй как-нибудь. Может, мужиком станешь.

Луи заглянул в глаза парня. Ему нравилось наблюдать, как там появляется то, чего не было раньше. Но усталость брала свое. Хватит так хватит. Он посмотрел на сигарету. Оставалось еще на пару затяжек. Он не спеша докурил и раздавил окурок в пепельнице.

— Ну... — Получился скорее тяжелый вздох, чем звук, имеющий какое-либо значение. — Как я уже ска-

зал, ты и твой дядя, вы друг друга стоите. Два маленьких лживых педика. Знаю, ты его обкрадываешь, продаешь товар на сторону, десяток бутылок сюда, полдюжины туда. По мелочам. Ты и сам дешевка. Мелочь. Членосос. Как и твой папаша. — Он замолчал, допил виски. Тающий лед приятно освежил губы. — Твоя мамаша, да упокоит Господь ее душу... — Он вытер тыльной стороной ладони рот. — Она тоже была шлюхой. Да и то... даже отсосать толком не умела.

Луи надеялся увидеть злость в глазах управляющего, но глаза заволокло страхом. Он слегка наклонил голову, изучающе разглядывая лицо парня.

— Знаешь, ты какой-то... гнилой. Как это только твоя шлюха вышла за тебя? Ты же неудачник. Наверное, она тоже. Никогда ее не видел. И детишек твоих не видел. Есть карточка?

Парень вынул бумажник. Луи сразу забрал его себе. Он достал деньги — их оказалось немного — и засунул, не считая, в карман.

— Это она?

Парень кивнул.

— Мы любим друг друга.

Он произнес это так, словно это имело какое-то значение. Человек, когда напуган, несет полную чушь.

Луи посмотрел на фотографию.

— Да. Тоже гнилая. Вы оба какие-то чудные. Ты похож на этого... как их там... они еще ловят крыс... на хорька. А она на свинью. Сосет-то хоть хорошо? Лучше, чем твоя мамаша? — Он перевел взгляд на другую фотографию. Мальчик и девочка. Луи задумчиво покачал головой. — Скрести осла и лошадь, получишь мула. А вот что получается, если скрестить хорька и свинью. Сколько девочке?

— В следующем месяце будет десять.

— Нет, с ними не знаком. С женой и детьми. Может, стоит прокатиться как-нибудь в Джерси, засвидетельствовать свое почтение. Выяснить, кто из них лучше отсасывает, твоя мамаша или эта... Так, говоришь, девчонке десять? Знаешь, странное дело, в последнее время все больше тянет на свежатину.

Он отхаркался и сплюнул на фотографию. Потом отхаркался еще раз и плюнул в лицо управляющему.

Тот расплакался и принялся утираться салфеткой.

— Чего ты от меня хочешь? Что тебе надо?

— Две вещи. Первое — и, как говорят копы при аресте, подумай хорошенько, прежде чем ответишь, потому что это, возможно, самый главный в твоей жизни ответ, — сколько денег сейчас в этой говняной дыре?

— Только то, что мы заработали за вечер. Около двенадцати сотен.

— Какая жалость.

— Теперь все пользуются кредитками.

— Сколько из этих двенадцати сотен ты уже прикарманил?

— Ты все забрал.

— Выверни карманы.

Парень положил на стол еще сто восемьдесят долларов и несколько монет. Луи сгреб деньги и сунул в карман пиджака.

— Где остальные?

— На кухне.

— Пошли.

Луи поднялся. Управляющий тоже встал и пошел в обход бара через узкий коридорчик, ведущий на кухню. Он чувствовал, что Луи идет следом, совсем близко.

На стене в кухне висела дешевая, безобразная картина в дешевой, безобразной рамке. На картине была изображена Дева Мария. Такие штуки пользовались популярностью у кухонной прислуги.

— Какого хрена эти вшивые помойки называют итальянскими ресторанами? — фыркнул Луи. — Здесь же не найдешь ни одного итальяшки. Только долбаные доминиканцы, эквадорцы и прочее дерьмо. Никакие это не итальянские рестораны. Так пусть и называются по-другому. И кто только сюда ходит, а? Евреи?

Парень поднял руку, достал из-за картины конверт и протянул Луи. Тот взял конверт левой рукой и сунул в задний карман брюк. В правой он держал пистолет в полиэтиленовом пакете.

Парень молчал и не спрашивал, что еще хочет от него гость.

— Так... Помнишь, о чем мы говорили? Из тебя надо сделать мужчину. Стань на колени.

— Лу, пожалуйста, я сделаю все, что потребуешь, только...

— Ну так делай, мать твою!

Управляющий медленно опустился на колени. Ноги у него дрожали. Все происходящее казалось ему нереальным, но... Он чувствовал под собой жесткий пол, чувствовал стену за спиной. Они были реальные. Он стоял с закрытыми глазами, слегка опустив голову.

Сунув руку в расстегнутую ширинку, Луи потряс сморщенную мошонку со слипшимися от пота и всего прочего складками кожи, отодрал приклеившиеся к трусам яйца и указательным пальцем приподнял безвольно опавший член. Наконец эта отсыревшая, вялая троица снова могла дышать приятным, сухим воздухом. То, что надо.

— А теперь сожми колени, как примерная девочка. Вот так. Молодчина.

Луи нажал на спусковой крючок через пластиковый пакет. Вот и все. Он отступил. Идеально. И вот что любопытно: если человек стоит на коленях и ты стре-

ляешь в упор и прямо в голову — именно так, в упор и точно в голову, без контрольного выстрела, — то он так и останется стоять. Но стоит только попытаться поднять какого-нибудь гребаного дохляка и поставить его на колени, как испортишь всю картину. Задницу порвешь, а результата никакого. Вид уже не тот. Пустой номер.

Парень выглядел прилично. Луи заметил, что коленопреклоненный педик с дыркой в башке расположился аккурат под этой дурацкой шлюхой Девой Марией. Какое тут, мать вашу, прилично! Забудьте это слово. Вот вам ваше гребаное искусство.

C'erano nove cieli: non sfere celesti, ma cieli della terra, cieli di nube e di soffio d'iaria.

Их было девять. Девять небес. Не райских, но земных. И познание истины началось для него с открытия этой эннеады[1].

Устремленный к небесам, он хорошо узнал их за годы, проведенные под ними. Первое из познанных им за это время небес стало и редчайшим из всех. То было великое небо безграничности. Каждое из небес имело четыре аспекта: приход, бытие, уход и ночь, — и потому небо безграничности приходило из тьмы с нежнейшим светом, в котором угадывался оттенок бледно-розового. Различить этот оттенок можно было так же, как и различить голубизну самого неба, голубизну всех девяти небес в жилках вен под кожей тех, у кого она нежнее нежного.

Такая голубая жилка просвечивала слева ото лба, где вились мягчайшие воздушные золотистые локоны, неукрощенные, непокорные и свободные, тогда как остальные пряди прилегали друг к другу, туго стяну-

[1] Эннеада — число «девять», считавшееся священным у древних египтян.

тые и заплетенные. Однажды он увидел каплю росы — готовую вот-вот растечься жемчужинку розмаринового масла, которым смазывали волосы при расчесывании, для него она была росой утра безграничности, — каплю, радужное сияние которой вошло в его глаза и с тех пор жило там, впечатанное навечно, как ad gloriam ей.

Ей. Той, чьи движения и движения небес слились отныне воедино.

Но прежде чем ему была явлена она, он познал небо безграничности. Он лежал на лужайке, воспринимая молодой, гибкой спиной пульс земли, когда вдруг виденное множество раз предстало перед ним по-новому: туманная завеса белых, беспрерывно меняющих свой узор облаков разошлась и открыла голубизну, бывшую голубизной Всего. Пульс земли сделался его собственным пульсом, и увиденное лишило его дыхания. Еще одна кипящая волна, сияюще-белая волна великой евхаристии прокатилась по небу невидимо, и его, изумленного свершившимся чудом и самого ставшего чудом, бесчувственного и бездыханного, но вобравшего все чувства и все дыхания, ослепил пылающе-золотой диск солнца. И тогда, лишенный всех данных ему с рождением ощущений, он познал то, что лежит за пределами видимого, то, ради чего мы рождены.

Потом чудо прошло, и Данте Алигьери снова стал ребенком с внимающей земле молодой и гибкой спиной. Но этот ребенок пролежал весь день и вечер, до самой ночи ожидая возвращения того, что не вернулось, и видя, как плавно меняются грани неба, как будто небесные ширь и глубина были ширью и глубиной души и вздоха.

И звезды манили его прочесть мириады их тайн, и не было с ними луны.

* * *

Я говорю с вами, как продукт «АОЛ Тайм-Уорнер».

Никогда бы не подумал, что доживу до такого, что произнесу эти слова, одновременно омерзительно отталкивающие и странно занимательные. Впрочем, я никогда не думал и о том, что проживу так долго. Точка. Но у воображения есть предел, и я уже ни о чем не думаю, а судьба двулика, и ни один из ее ликов не явит себя до самого конца. Сейчас я не испытываю ни отвращения, ни любопытства. Есть лишь фатальное ожидание финального снятия покровов. Я знал, что, как бы все ни повернулось, эти слова я уже не произнесу. Потому что, как бы все ни повернулось, меня, Ника Тошеса, здесь уже не будет. Точка.

Больше мне об этом сказать нечего, потому что ничего больше я и не знаю. Покровы еще не сняты. Но я могу — и хочу — рассказать о том, что привело меня сюда.

Я делаю глубокий вдох и, выдыхая, рассеиваю мрак прошлого во мраке настоящего: отныне мне предстоит выдыхать только мрак своего повествования. Никто не пришел и не вломился в мрачную церковь внутри меня, и, как бы сильно ни желал я присутствия в ней чьей-то души, она, эта темная церковь, не имеет к моему рассказу никакого отношения, если не принимать во внимание то, что она имеет отношение ко мне.

Мрак.

Слово настолько древнее и затертое, что почти утратило смысл. И тем не менее снова и снова меня влечет к нему. Жизнь моя на этой земле вовсе не была обделена светом, счастьем, любовью и радостью. Но эти слова тоже слишком стары и затерты и почти утратили смысл. Сейчас наконец мне комфортно с ними, я свыкся с ними, как свыкся со всем старым и за-

тертым, со всем, что почти утратило смысл. Так что и с вами я буду говорить такими вот словами, говорить из древнего затертого мрака, заслоняющего теперь древний затертый свет, древнее затертое счастье, древнюю затертую любовь и древнюю затертую радость.

Так как терять мне уже нечего, то я поворачиваю ключ и распахиваю двери этой церкви, ничего не скрывая и не побоясь никакой правды. Я не стану утруждать себя подбором слов. Такой труд, как и прекрасный день, с которого начнется мой рассказ, уже не для меня.

А день, Господи, был прекрасный. Как и каждый день того лета. Я покинул Нью-Йорк более месяца назад. Сначала Юкатан, потом из Канкуна на Кубу.

Поздними вечерами, когда мелодии и ритмы сона и данцона, румбы и мамбы, бой барабанов и стук ножей проникали сквозь ставни комнаты отеля «Санта Исабель» в Гаване и входили в меня, я спускался на Пласа-де-Армас, чтобы смешаться с тем, что вошло в мою кровь. Я брел туда, где затихали мелодии и ритмы, туда, где в горячем ночном воздухе таилась опасность: к заброшенным черным останкам крепости Ла-Реаль-Фуэрса, к грязи и нищете побережья. Я был странно спокоен и нарочно не спешил уходить, словно напрашиваясь на встречу с уползавшим при моем приближении злом. Потом возвращался к мелодиям и ритмам, внимал им, пока все не умолкало и не погружалось в тишину, и отправлялся спать.

Днем я спасался от духоты и зноя, находя убежище в парикмахерской на калье Обиспо, заведении, ведущем свою историю со времен конквистадоров. Разгуливая среди уличных торговцев, теснившихся в тени аркады, я искал следы прежней Гаваны, той, что умерла вместе с режимом Батисты. И в первую очередь меня интересовали fichas casino, фишки из старых ка-

зино. Но мои расспросы о такого рода вещах смущали и беспокоили торговцев, потому что сами такого рода вещи являлись артефактами запрещенной истории. В конце концов один смельчак все-таки позвонил куда-то, а потом, получив назначенную плату, дал мне адрес и имя человека, которого охарактеризовал как историка-изгоя и коллекционера.

Ближе к ночи я посетил этого человека, Лазаро. Видя во мне храбреца americano, рискнувшего пробраться в его квартирку на пользующемся дурной славой углу калье Компостело, он не мог не воспользоваться редкой возможностью поговорить свободно и без опаски. Меня интересовали кое-какие вещицы из его коллекции и ничего больше, но необходимость слушать — при том, что я не понял и половины услышанного, — входила в установленную цену.

Лазаро не проявил желания расставаться со многими из наиболее приглянувшихся мне предметов, однако в конце концов я все же сторговался с ним и приобрел черно-белую фотографию обнаженной женщины, перевязанной лентой с надписью: «Miss Modelo 1957». Победительницу держали на руках, и две из этих рук — по одной на каждом из премиленьких бедер — принадлежали сияющему президенту Батисте. Но конечно, фотография ничего не значила по сравнению с фишками: «Гавана, Ривьера», «Казино “Севилья”», «Тропикана», «Казино “Уилбур Кларк”». Самая замечательная не имела названия заведения: заключенный в темно-красный круг, выложенный такими же темно-красными буквами на белом фоне, ее смелый девиз говорил громче любых слов. Hakenkreuz, нацистская свастика. По словам Лазаро, эта фишка была из давно забытого казино «Алеман», стоявшего со дня основания в 1862 году на пересечении Прадо-променад и калье Нептуно.